



КРАСНЫМ

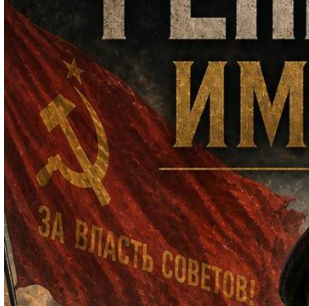
ГЕНЕРАЛ



ИМПЕРИИ

— КНИГА —

2



ХАРБИН
ЛЯОЯН
ЦУСИМА



НОВОЕ ВРЕМЯ
НОВАЯ ИМПЕРИЯ
ЕГО СТРАТЕГИЯ
ИЗМЕНИТ ХОД ИСТОРИИ

ПАВЕЛ СМОЛИН

ВОЙНА ЕЩЕ

Павел Смолин

Красный генерал Империи 2

<https://litres.ru/73943348>

SelfPub; 2026

Аннотация

Весной девяносто шестого года советский генерал-лейтенант запаса Сергей Михайлович Лопатин засыпает в кресле над книгой о русско-японской войне — и просыпается приамурским генерал-губернатором Николаем Ивановичем Гродековым в Хабаровске второго мая тысяча девятисотого года.

В голове — атеист, коммунист, ребёнок войны, потерявший отца под Курском и брата под Витебском. В теле — генерал от инфантерии, востоковед, наказной атаман трёх казачьих войск. Под рукой — округ от Шилки до Камчатки, двадцать четыре батальона стрелков, шесть казачьих полков и пятьдесят восемь дней до того, как с китайского берега Амура на Благовещенск полетят первые снаряды.

Его задача — не просто выиграть у японцев пять лет спустя. Задача глубже: к семнадцатому году у него на руках должен быть круг людей, способный дать стране другую революцию. Без расстрелов на Лубянке. Без голода тридцать второго. Без сорок первого, в котором он, мальчик, потерял всё.

Содержание

Глава 1	4
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Павел Смолин

Красный генерал Империи 2

Глава 1

Семнадцатого января было минус тридцать два.

Это я узнал утром от Артемия, который, ставя на стол поднос с чаем и прибором для бритья, отрапортовал по своей привычке, не спрошенный, по делу:

— Холодно, ваше высокопревосходительство. Тридцать два по Реомюру. На Амуре туман от полыньи у быков моста, ходить нельзя, ослепнешь.

— Спасибо, Артемий.

— И ещё. Соломин Григорий Афанасьевич уже в канцелярии. С шести часов.

— Это мы знаем. Он раньше нас всегда.

Артемий улыбнулся. Чай был крепкий, как я просил, с долькой лимона. Лимоны в Хабаровске зимой стоят дорого: их везут из Владивостока через Никольск-Уссурийский, и ко мне на стол они доходят зеленовато-желтоватыми, почти неузнаваемыми. Но Соломин где-то их находил. У него на это была своя сеть.

Я выпил полстакана горячим, поставил.

— Что в почте?

— Не знаю, ваше высокопревосходительство. Соломин ничего не сказал. Сказал только, телеграмма от Чичагова есть. И пакет от Бачурина, с какими-то картами.

— Карты подождут. Телеграмму сейчас.

Артемий вышел.

Я отодвинул поднос, накинул на плечи стёганный домашний халат, синий, с чёрной оторочкой, который Феодосия Сергеевна сшила мне ещё к Рождеству девятьсот первого, и который теперь начал вытираться на локтях. Менять не хотелось: вещь была обмятая, тёплая, своя. Подошёл к окну.

За окном стояла тяжёлая, неподвижная, синеватая зимняя темнота. Небо начинало едва светлеть на востоке, над сопками за Амуром, серовато-жёлтой полосой, без всякой розы. На Алексеевской уже видны были редкие фонари у губернаторского дома, у соборной площади, у штаба. Ниже, к реке, всё стояло в плотном пару. Я знал: это пар над полыньёй у мостовых быков. Видел его из этого окна все три зимы своей нынешней жизни.

Третья зима. Ровно три полных года, как я здесь.

Я поймал себя на этой мысли спокойно, без всякого внутреннего возмущения. Три года. И эти три года в моей теперешней голове стояли плотно, без зазоров. Я уже не делил жизнь на «до» и «после». Я её вёл одну, в двух телах, с двумя именами, на двух разных языках, в двух разных эпохах. И

этот раздел во мне давно не болел.

Болело другое.

Десятого января, то есть семь дней назад, я получил от Соломина на стол сводку Чичагова за декабрь по корабельному составу японского флота. Сводка была сухая, в две страницы машинописного письма; Чичагов с прошлой осени стал готовить такие сводки в единой форме, помесечно, и присылать мне с курьером по тёплому каналу через Владивосток-Хабаровск. Это был наш с ним негласный документ, который не шёл через канцелярию военного министерства и не ложился в петербургские архивы.

Из сводки было видно: японцы вошли в финальную фазу.

«Микаса» у Сасебо в боевой подготовке, как и доклады-вал Чичагов седьмого. К нему «Асахи», «Сикисима», «Хатсусе», «Фудзи», «Ясима». Шесть линейных кораблей первого ранга, из них два английской постройки, спущенные на воду в девяносто девятом и тысяча девятисотом, с орудиями двенадцать дюймов. По крейсерам: «Идзумо», «Иватэ», «Адзума», «Якумо», «Токива», «Асама». Шесть броненосных. Дальше лёгкие крейсера, миноносцы, по которым счёт у меня в голове терялся.

Я этих имён не знал по моей советской памяти. Из имён Цусимы у меня в той голове остались «Микаса» и в общем «японский флот, который был сильнее». Подробностей я не помнил никогда. Но картина складывалась без подробностей. У японцев была первоклассная эскадра: готовая,

обстрелянная, с английскими комендорами в обучении, с японским характером в исполнении.

У нас был Тихоокеанский флот в Порт-Артуре, формально сильный, фактически ослабленный распылением сил между Балтикой и Тихим океаном, с устаревшими образцами стрельбы, с командой, не приспособленной к войне в этом театре, и с Алексеевым в наместниках.

Алексеев был назначен наместником Дальнего Востока летом прошлого, тысяча девятьсот второго года. Это реальная история, которую я знал по мемуарам ещё в той, советской жизни. Государь учредил наместничество, выделив Дальний Восток в отдельную административную единицу с прямым подчинением Петербургу. Наместником стал Евгений Иванович Алексеев, в прошлом моряк, контр-адмирал, любимец двора, личный знакомый его величества. Человек не худой, но и не глубокий. Вокруг Алексеева стали кучковаться остатки безобразовского круга, полупридавленные, но не разогнанные. Через него снова пошли частные предприятия в Корее: лесные концессии, разведка месторождений, всякая деятельность, которой следовало бы не быть.

Я в этом был отстранённой стороной. Моё генерал-губернаторство Приамурского края наместничеству формально не подчинялось. У меня был отдельный рескрипт государя от августа прошлого года, продливший мои полномочия до тысяча девятьсот седьмого с расширением. Любые «предприятия военного характера» на территории края только через

меня. Это был заслон, который я выстроил.

Но Корея была вне моего края. Маньчжурия формально тоже. И там Алексеев работал с безобразовцами свободно, и я его оттуда не выкуривал. Не успевал.

Я смотрел в темноту за окном и думал: годом раньше я бы на эту картину смотрел тяжелее. Сейчас спокойнее. Я знал: войну не остановишь. Японцы решили, в столицах, во дворцах, в министерствах, и их там никто не остановит. Они придут двадцать седьмого января тысяча девятьсот четвёртого. Может, чуть позже, с поправкой на то, что я уже немного ткань поменял, может, в марте. Но придут.

У меня оставался год. Не весь. Десять месяцев и десять дней до того срока, который я про себя назначил. К ноябрю всё должно стоять на местах, без зазоров. С декабря мы уже только ждём.

Я отошёл от окна. Сел к столу. Тряхнул колокольчик.

— Артемий. Я готов одеваться.

В кабинет я спустился к восьми.

Соломин ждал у двери, как всегда, с тонкой папкой в правой руке и со стопкой свежеотточенных перьев в нагрудном кармане кителя. Он за эти три года почти не изменился: та же ровная седина на висках, тот же мягкий взгляд водянисто-голубых глаз, та же манера стоять чуть в стороне от двери, не загораживая, дать пройти, поклониться сдержанно, без подбострастия.

— Доброе утро, Николай Иванович.

— Доброе, Григорий Афанасьевич. Что в почте?

— Телеграмма от Николая Михайловича. На столе.

— Так. Что ещё?

— Бачурин Иван Захарович привёз из поездки в Малышево карты нанайских стойбищ по Анюю, с переписью. Просит пятнадцать минут вашего времени, когда удобно. Он у меня в третьем кабинете, греется.

— После Селиванова. Селиванов во сколько?

— Условились на одиннадцать. Будет с планом по второму варианту.

— Хорошо. Что ещё?

— Северцов Сергей Андреевич с Ворониным Яковом Тимофеевичем. С шести часов работают в малом кабинете. Я их без беспокойства оставил.

Я посмотрел на Соломина внимательно.

— Они с шести часов?

— С шести, ваше высокопревосходительство. Северцов так попросил вчера. Сказал, у Якова Тимофеевича утренние часы самые ясные. Я приказал поставить им чай и не входить. Если позволите.

Я кивнул. Соломин на мгновение позволил себе тонкую улыбку, тут же её прибрал. Он очень хорошо понимал, что у меня в этом доме сейчас формируется. И он это поощрял своим тихим способом.

— Григорий Афанасьевич. Через полчаса зайду к ним сам. Пока телеграмма, и пока почту разберём.

— Слушаюсь.

Он положил тонкую папку на стол, аккуратно отодвинул чернильницу к моему правому локтю, поправил на углу стола маленького бронзового льва (гродековского, моего, лежащего в полутораполужизню на подушечке из зелёного сукна), и вышел, прикрыв за собой дверь без всякого шума.

Я взял телеграмму.

«Хабаровск ген-губ. От В-Жатока Чичагова, шестнадцатого января. Получено сообщение через консула в Нагасаки: пятнадцатого января из Сасебо вышла соединённая эскадра в составе шести броненосных и шести броненосных крейсеров с приданными миноносными дивизионами; учения проводятся западнее Цусимы, продолжительность объявлена две недели. Принимаются меры к получению дополнительных сведений. Подтвердить получение».

Я прочёл два раза.

Декабрьские учения у Сасебо переросли в январские учения западнее Цусимы. То есть у самого корейского пролива. То есть у точки выхода нашей балтийской эскадры, если таковую поведут.

Я взял перо. Написал ответ:

«Владивосток. Чичагову. Получено. Прошу продолжать наблюдение в обыкновенном порядке. Особо отслеживать выход и возврат соединений. Дополнительно прошу через консулов в Нагасаки и Хакодате собрать сведения о приёмке угля и боеприпасов в названный период. Доклад еженедель-

но. Гродеков».

Положил перо. Перечитал. Подержал.

Вызвал Артемия:

— На телеграф. Соломину пусть зашифруют по нашему ключу с Николаем Михайловичем.

Артемий молча принял лист, унёс.

Я остался один в кабинете.

Восемь утра. Темнота за окном начинала рассеиваться: серый, ватный, неподвижный зимний рассвет. На улице никого, только дым над печными трубами стоял прямо, как столбы. Слышно было, где-то далеко, в стороне Хабаровских высот, звякнул колокол ранней обедни.

Я подвинул к себе лежавшую на столе папку с обыкновенной утренней почтой (два прошения от вдов офицеров о пенсиях, представление от штаба Уссурийского казачьего войска о наградном списке за нижний девятьсот второй год, докладная от хабаровского полицмейстера о порядке в новогоднюю ночь: «происшествий значительных не было, кроме шести случаев бытовых драк и одного ножевого ранения у трактира Богомолова на Барановской») и принялся за работу.

Утро шло обыкновенно. По уставу. По кругу. Я уже знал каждый из этих жанров наизусть. Знал, какой формулой ответить на представление. Знал, какую резолюцию написать на прошение вдовы. Знал, как назначить расследование по ножевому, не назначив его шумно. У меня в голове за три

года выстроилась машина, которая работала ровно, без сбоев, и в большую часть утра я работал почти не думая, просто пропуская через себя бумагу, как мельница пропускает зерно.

Это мне нравилось.

Это было то самое спокойствие, которое я в моей советской жизни знал в самые последние месяцы перед девяностым третьим годом, когда я ещё командовал частями и ещё знал, что я делаю и зачем. Спокойствие занятого человека. Спокойствие, у которого работа.

К десяти я был на половине стопки. Соломин принёс ещё чая. Я попросил передвинуть приём Бачурина на завтра: у меня после Селиванова шла Чичаговская сводка по флоту, и я не хотел рвать концентрацию. Соломин записал, ушёл.

Без четверти одиннадцать постучал Селиванов.

Селиванов за прошедший год стал командующим войсками Приамурского военного округа. Должность была выделена из моего генерал-губернаторства специально под него, после моего рескрипта. Он остался при мне не как начальник штаба, а как самостоятельный военачальник с особыми полномочиями. На бумаге это смотрелось некоторой странностью; на деле мы с ним работали ровно так же, как и раньше, только теперь у Селиванова был свой приказ за своей подписью, и он мог самостоятельно направлять подчинённые ему войска, не оглядываясь каждый раз на меня.

Это было большое облегчение для нас обоих. Я освобож-

дался от чисто военных решений, оставляя за собой общее направление, политику, переписку с Петербургом. Селиванов освобождался от вечного двойного согласования и мог работать как командир, а не как штабист при ком-то.

Он вошёл в тёмно-зелёном кителе, с погонами генерал-лейтенанта (произведён по моему ходатайству в декабре девятьсот первого), с папкой под мышкой. Папка толстая, в коленкоровой обложке, перевязанная двойной верёвкой. На обложке крупно, моей рукой: «План III. Особый. К. В. О.». Это был наш план. Третий вариант, не из моих, а из самих военных штабов: «оборонительное развёртывание на Маньчжурском театре с упором на правое крыло и удержание Порт-Артура до подхода главных сил».

— Доброе утро, Николай Иванович.

— Доброе, Андрей Николаевич. Садитесь.

Мы последний год на «ты по имени» в кабинете уже не возвращались, кроме самых тёплых вечеров за рюмкой. По делу — «Николай Иванович», «Андрей Николаевич», и так удобнее.

Селиванов сел напротив, развязал верёвку, разложил передо мной три листа большого формата с красными и синими стрелками.

— Я у Вас тут окончательную сборку покажу. По Третьему плану. С учётом всего, что мы за лето и осень прошлого года прогнали через манёвры.

— Слушаю.

— Главная цифра — пропускная способность Транссиба. Она у меня сейчас, по обновлённым данным от Кругобайкальского управления, десять с половиной воинских поездов в сутки на восток. Это без разрыва на Байкале, по льду, в зимний сезон с использованием рельсового пути по льду. Летом, через паром, у нас будет восемь, не больше.

— Десять с половиной — это с учётом обхода?

— С учётом нового обхода через Слюдянку, да. Кругобайкальская дорога от Слюдянки до Кутула должна быть открыта по нашим расчётам не позже сентября четвёртого. До этого по льду или паромом.

— Значит, если война начнётся в январе или феврале, у нас в первый месяц десять поездов в сутки. Это сколько эшелонов на полную дивизию?

— Дивизию полностью, со всем тыловым хозяйством, около ста двадцати эшелонов. Десять в сутки — двенадцать дней на дивизию.

— То есть на пять дивизий два месяца минимум.

— Так точно.

— А японцы за два месяца что успеют?

Селиванов положил карандаш на стол. Поднял на меня глаза.

— Японцы за два месяца, Николай Иванович, могут высадить весь свой первый эшелон. Это три армии. Одна на Корею, две на Ляодун. Если они без сопротивления высаживаются, они к концу второго месяца уже под Порт-Артуром.

— Значит, нам нужно держать там, что есть на месте.

— Так точно. И именно это Третий план предусматривает. Главные силы собираются за Ляояном. Вперёд выдвигается арьергард, удерживающий перевалы. Порт-Артур сидит сам, держит флот, мешает японцам разворачиваться. К концу третьего месяца у нас перевес, и мы переходим в наступление.

— Если Порт-Артур выдержит.

— Если Порт-Артур выдержит. У нас по этой линии есть свои расчёты. Кондратенко там сейчас по моему ходатайству начальником сухопутной обороны, с прошлой осени. Вы об этом знаете.

— Знаю. И благодарен Вам и за это.

Селиванов кивнул. Он за прошедший год взял мою установку на то, что Кондратенко наш человек в Артуре, и провёл его туда собственным ходатайством через Куропаткина, не светя меня. Это я ценил отдельно.

— Андрей Николаевич. Скажите мне две вещи.

— Слушаю.

— Первая. Если японцы внезапной атакой выводят из строя сразу часть Тихоокеанской эскадры в первые же сутки, это меняет план?

Селиванов посмотрел на меня внимательно. Он привык к моим вопросам, которые он называл «гипотетическими, но почему-то всегда сбывающимися». Он научился на них отвечать всерьёз.

— Меняет, Николай Иванович. Если флот выбит, японцы могут переправлять войска беспрепятственно. То есть высадка идёт быстрее, и в любых местах. У нас Корея становится открыта, Ляодун открыт, Сахалин открыт.

— Сахалин оставим. Если на нас потащут на Сахалин, это будет уже в самом конце войны, дело не первого года. А Корея и Ляодун — что мы можем сделать?

— На Ляодуне крепко стоять в Артуре. На Корее сейчас формально мы не можем войска держать. Но у нас за рекой Ялу, в Маньчжурии, можно собрать резерв тысячи в три-четыре человек, с пушками, и держать переправы. Если японцы пойдут через Корею, встретятся с этим резервом.

— Это есть в плане?

— Не в основном. В дополнении. По вашему намёку с прошлой осени.

— Сделайте основным, Андрей Николаевич. Сделайте в основном плане. Резерв на Ялу, четыре батальона при шести пушках, должен там стоять с осени тысяча девятьсот третьего, без перерыва.

— Слушаюсь. Вписываю.

— Вторая вещь. Телеграф.

Селиванов поднял брови.

— Я думаю, Андрей Николаевич, и Вы со мной согласитесь, что в первые дни войны японцы постараются перерезать или повредить наш телеграфный кабель. Между Порт-Артуром и Хабаровском, между Порт-Артуром и Петербур-

гом. У нас сейчас всё идёт по одной линии, через КВЖД, через Маньчжурию.

— Так точно.

— Я хочу резервный курьерский путь. Через Якутск на Владивосток, через Якутск на Иркутск. Конно-нарочным. Не быстро, но есть. Чтобы не зависели от единственной нити.

— Это большое предприятие, Николай Иванович. Станции, лошади, люди.

— Знаю. Вы посмотрите с Зарубиным. У него казачьи сотни на Амуре, ему будет проще организовать. Я ему отдельным поручением. К весне путь должен быть. До конца лета обкатан.

Селиванов записал в блокнот. Кивнул.

— Сделаем.

— И третья просьба. Не вторая, а третья, я раздумал. Андрей Николаевич, обучите офицеров ночным действиям. Особо. Японцы будут бить ночью, и часто. У нас этого почти нигде в уставах нет. Командиров учите ночным маршам, ночным переходам, ночным сторожевым нарядам. Чтобы как днём. Я понимаю, это лишняя работа. Но это спасёт людей.

Он опять записал. Чуть улыбнулся:

— Николай Иванович. У Вас иногда бывают такие под-сказки, что я думаю, Вы где-то книжку вперёд прочли.

— Бывает, Андрей Николаевич. Бывает.

Он не настаивал.

Мы ещё около часа сидели над картой. Прошлись по точ-

кам: Харбин, Мукден, Ляоян, Дальний, Артур, Цицикар. Сверились с цифрами по складам: мука, овёс, патроны, снаряды. Уточнили, какие именно полки куда подходят в первые две недели после объявления войны. Разнесли по дням: день первый, день третий, день седьмой, день четырнадцатый. Селиванов всё это знал наизусть и без бумаги, но мы всё равно сверяли.

К двенадцати закончили. Селиванов собрал бумаги, перевязал верёвку.

— Николай Иванович. Я пойду к себе, дописываю по Вашим поправкам. К пятнице будет окончательный текст. Принесу.

— Хорошо. И, Андрей Николаевич.

— Слушаю.

— Спасибо, что Вы со мной.

Он остановился. Посмотрел на меня тяжёлым, добрым, прямым взглядом. Кивнул. Сказал без всякого пафоса:

— И Вам спасибо, что Вы есть.

И вышел.

Я долго сидел в кабинете один. Смотрел на карту. На красные и синие стрелки. Подумал: ну вот, голубчик. Один человек у меня есть.

Не «один» в смысле «один-единственный». Один в смысле — первый из тех, кто будет.

После обеда я зашёл в малый кабинет.

Там было тихо. У окна, за маленьким овальным столом,

при двух свечах в жестяных подсвечниках (день был серый, темнело уже к четырём), сидели двое.

Спиной к двери Северцов. Свой, в полевом тёмно-зелёном кителе с погонами поручика, с пером в правой руке, с раскрытой тетрадью перед собой. Тетрадь большая, переплёт чёрный, под ней стопка отдельных листов. Он писал быстро, мелко, не отрываясь.

Напротив него Воронин. Я его не сразу узнал: зимой в комнате Воронин надевал старый облезлый полушубок поверх рубахи и сидел в нём, как в тёплой избе. Седые волосы у него отросли за прошлый год, и теперь свисали почти до плеч, по-стариковски. Лицо обветренное, в морщинах, с серыми внимательными глазами. Он что-то рассказывал спокойно, негромко, поясняя пальцем по разложенной перед ним карте. На карте, я узнал её, был Уссурийский край с волостями, нарисованной от руки, Ворониным же.

— ...и вот тут, на Анучинском увале, — говорил Воронин, — у нас три села. Анучино, Чернышовка, Виноградовка. Анучино основано в шестьдесят пятом, старосельское. Чернышовка позже, в восьмидесятых. Виноградовка самое молодое, девяносто восьмого года. Вы это в голове себе так и держите: чем моложе село, тем хуже у него урожай и тем тяжелее зимой. Старшие сёла встали на ноги, у них всё в порядке. А молодые — у них и пашни не разработаны как следует, и дома сырые, и в случае неурожая голодают.

— А что государство им? — спросил Северцов. Не как

адъютант, как ученик.

— Государство им, Сергей Андреевич, по уставу даёт хлебную ссуду. По уставу. По уставу выдаёт. Но устав один, а хлеб другой. У них в Виноградовке прошлой осенью неурожай был, восемь рублей с десятины вместо двадцати. Они подали прошение через уездного начальника. Прощение пошло в губернское правление. Из правления в министерство земледелия. Из министерства обратно. Когда они ответ получают, у них дети уже от голода — кто умер, кто перенёс. Вот так у нас государство.

Северцов писал, не поднимая головы. Только лицо у него на этих словах было серьёзное. Не возмущённое. Серьёзное.

Я постоял в полуоткрытой двери ещё немного, не входя. Потом отступил, прикрыл дверь, вернулся к себе.

Сел за стол. Подумал.

У меня в кабинете на бронзовой подставке стояла фотография государя. Парадная. В мундире. С орденской лентой. Внимательный, моложавый, чуть рассеянный взгляд. Я на эту фотографию обычно не смотрел: она у меня стояла как полагается, у любого губернатора царской империи стояла такая, я её не убирал. Но сейчас посмотрел.

«Государство им, по уставу, даёт хлебную ссуду».

Я подумал: ну вот, голубчик. Это и есть самое правильное, что у меня в этом доме сейчас происходит. Северцов учится у Воронина про ту страну, которую государь со своего портрета не видит. Никогда не видел. И, скорее всего, никогда не

увидит. И через год, когда придут японцы, или через пять, когда придёт что-то ещё, государь будет именно поэтому ничего не понимать.

А мой биограф будет понимать. И его записи пойдут куда положено.

Я отвернулся от фотографии. Подвинул к себе стопку утренней почты, которая ждала второй прокрутки. Принялся за работу.

Через час вошёл Северцов сам.

— Николай Иванович. Я Вам могу занять пять минут?

— Хоть полчаса. Садитесь.

Он сел. У него лицо было слегка покрасневшее, как у человека, который долго работал в холодноватой комнате при свечах.

— Николай Иванович. Вы простите. Я давно хотел Вас спросить и не решался.

— Спрашивайте.

— Я с Яковом Тимофеевичем занимаюсь не первый месяц. Вы это знаете. Соломин Григорий Афанасьевич Вам, я полагаю, доложил.

— Доложил. И поощрил, как я понимаю.

— Поощрил, да. Он мне сам и подсказал, что можно. Я Вам спасибо, что Вы это разрешаете. Я Якова Тимофеевича слушаю и записываю. Я с ним езжу по сёлам, когда удаётся. В прошлом сентябре был с ним в Спасском, в октябре в Раздольном. Я многого не знал. Я рос в военной семье, я

кадет с двенадцати лет. Я про переселенцев, про крестьян, про ссыльных ничего не знал. Я узнаю.

— Это важная вещь, Сергей Андреевич. Очень.

— Я хотел Вас спросить. Можно, я буду продолжать?

— А почему Вы спрашиваете?

— Потому что это уже не биография. Это уже что-то другое. Я выхожу за пределы того, что Вы мне поручили в Маньчжурии.

Я долго смотрел на него.

— Сергей Андреевич. Вы ничего из того, что я Вам поручил, не нарушаете. Вы расширяете. Это другая вещь. И это правильная вещь.

— Спасибо, Николай Иванович.

— Я Вам скажу больше. У меня к Вам одно поручение, помимо того, что Вы делаете.

— Слушаю.

— Вы записываете. Вы слушаете. Вы едете с Ворониным по сёлам. Хорошо. Я Вас прошу на этот год собрать у себя в тетради карту края. Не географическую. Социальную. Кто чем живёт, в какой волости что, у кого что болит, у кого что светит. Я к этой карте буду обращаться, когда мне нужно будет принимать решения. Не по Третьему плану. По другому.

Северцов посмотрел на меня внимательно, серьёзно. Кивнул.

— Сделаю, Николай Иванович.

— И последнее. Когда Вы будете писать про Виноградов-

ку и про хлебную ссуду — записывайте не как агитатор, а как военачальник. Сухо. По цифрам. Без оценок. Оценки потом, когда они станут нужны. Сейчас просто фактура.

— Понял.

— Идите.

Он встал, поклонился, вышел. Я остался один.

И вот тут, в этой пустой, тёмной, синеватой комнате с бронзовым львом на столе и фотографией государя у дальней стенки, мне впервые за день стало спокойно.

Не от того, что у меня теперь есть Северцов с социальной картой. Спокойно от того, что он до этого дошёл сам. Я ему не подсказывал. Я только не мешал. Он пошёл к Воронину сам, взял у него знание сам, понял сам, что без этого знания нельзя.

Это значило, что моя работа за три года не пропадает. Что у меня свои растут. Что я в этом доме действительно что-то выращиваю.

Я этого даже Селиванову никогда не сумел бы объяснить. Это я мог объяснить только Татьяне Ивановне. Но Татьяна Ивановна этого и так знала, без объяснений.

Я подошёл к окну. День уже почти кончился. Над Алексеевской в фонарях кружил мелкий, сухой, колючий снег.

К вечеру в доме сделалось теплее, и я разрешил себе небольшое.

Я попросил Артемия растопить камин в кабинете (обычно я этого не делал, обходясь печью, но в этот вечер захотел

живого огня) и попросил Феодосию Сергеевну прислать наверх чай с малиновым вареньем и ту шарлотку с антоновкой, которую она пекла по моему любимому рецепту, в чугунной сковороде, с корочкой, посыпанной сахарной пудрой. Это всё была не еда, а детство. Не моё, лопатинское. Гродековское. Александринский сиротский корпус, рождественские праздники, шарлотка от попечительницы. Мне это в моей первой здешней зиме рассказала старая горничная Лукерья, которая помнила Гродекова мальчишкой. Я с тех пор иногда заказывал. Это было тёплое.

Артемий принёс. Поставил поднос на маленький круглый столик у камина, чтобы не нести бумаги на главном столе.

— Что-нибудь ещё, ваше высокопревосходительство?

— Нет, Артемий. Иди.

— Слушаюсь.

Он не ушёл. Помялся.

— Что у тебя?

— Ваше высокопревосходительство. Я, извините за дерзость. Но Феодосия Сергеевна сказала, что Вы на меня третий день не смотрите.

Я улыбнулся в первый раз за день.

— Артемий. Я на тебя смотрю каждое утро. Только ты этого не замечаешь, потому что я в это время в халате и с непрочесанной бородой.

— Это да. Но я к тому, что, может, Вам что нужно? Я подумал, Вы устали от Селиванова.

— Я не устал, Артемий. Я думаю.

— А-а-а. Ну тогда извините.

Он поклонился, вышел.

Я остался у камина один.

Сел в кресло. Положил рядом тетрадь, перо, чернильницу. Налил себе чая. Откусил шарлотки. Корочка хрустнула, антоновка, кисло-сладкая, тёплая, растеклась во рту. Я закрыл глаза.

И мне вдруг не Татьяна Ивановна вспомнилась, нет. Вспомнилось другое. Воскресное зимнее утро у нас в подмосковной квартире, лет тому, наверное, тридцать пять назад. Мне лет сорок пять. На кухне Татьяна Ивановна, в синем халате (тогда был другой, не тот, который в снах теперь), печёт пирожки с капустой. По всей квартире пахнет дрожжевым тестом и капустой. Дети спят ещё. За окном серое, мокрое, оттепельное московское небо, без всякой красоты. Я хожу босой по холодному полу на кухне, наливаю чай, говорю Татьяне Ивановне что-то незначущее про работу, она отвечает что-то незначущее про работу. Между нами ничего особенного не происходит. Просто мы дома. Просто мы вдвоём. Просто дом стоит, и мы в нём есть.

Я открыл глаза.

В Хабаровске за окном шёл сухой колючий снег.

В камине потрескивало берёзовое полено.

На столе чай, шарлотка, тетрадь.

Я этого ничего никогда не променяю. Никогда, никому,

ничего.

Я взял перо.

«17 января 1903. Хабаровск.

Чичагов телеграфировал: пятнадцатого японская соединённая эскадра вышла на учения западнее Цусимы, на две недели. Ответил: продолжать наблюдение, добавить приёмку угля и боеприпасов через консульства в Нагасаки и Хакодате.

Селиванов представил окончательную сборку Третьего плана. Поправки: четыре батальона и шесть пушек постоянным резервом на Ялу с осени с. г.; резервный курьерский путь через Якутск к весне; ночные действия в обучении офицеров впредь обязательно.

Северцов занимается с Ворониным переселенческими делами. Сам пришёл, спросил. Поручил собрать к концу года социальную карту края.

Пирогов пирогов ещё нет. Будут весной, когда поеду в Раздольное и Спасское.

Татьяна Ивановна со мной.

Десять месяцев десять дней».

Закрыв тетрадь.

Положил на колени.

Долго смотрел на огонь.

Думал: вот вам и последний год, Сергей Михайлович. Вот вам и последний нормальный год вашей нынешней жизни. Дальше будет разное. А пока у меня камин. И у меня Сели-

ванов с планом. И у меня Северцов с тетрадью. И у меня Чичагов на флоте. И у меня Артемий за стеной, обиженный, что я с ним мало разговариваю.

Это и есть то самое, ради чего мы здесь с тобой стоим.

Я отставил чай, встал, потушил камин, потушил свечи.

Прошёл в спальню. Лёг.

За окном продолжал идти сухой снег.

Где-то далеко-далеко, у чужих островов, в чужом проливе, японская эскадра выходила на учения, в полной зимней мгле, под чужим флагом, к чужой войне.

А у меня была третья хабаровская зима.

Ещё одна впереди.

Потом посмотрим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.